

## Храбрый Петин, или Урок истории наполеонам

### 1

Тогда же мы много говорили о Батюшкове, не о нем одном, но вообще о русских литераторах на войне. Кроме Лермонтова и Толстого, чьи военные биографии известны каждому, мы вспоминали Бестужева-Марлинского, его романтизированных героев и его самого, реально несчастного, вконец задержанного начальством в дальнем гарнизоне на Кавказе; декламировали звучную строфу поэта-улана Николая Гербеля — я привел ее тогда в историческом очерке о воинском знамени: «Впереди штандарт сияет утренней звездой, ветер бережно играет тканью золотой»; читали «Письма русского офицера» Федора Глинки, спорили о Гаршине...

Но более всего говорили о Батюшкове. Он участвовал в войнах с Наполеоном, вступил в ополчение, стал сотенным начальником петербургского милиционного батальона, а в последних сражениях, когда военные действия перекинулись за государственные границы России, был адъютантом генерала-храбреца Н. Раевского.

Стихотворение «Тень друга» с эпитафией из римского поэта Проперция: «Души усопших — не призрак: не все кончается смертью; бледная тень ускользает, скорбный костер победив» — он посвятил своему другу, боевому офицеру Ивану Александровичу Петину. С ним вместе он провел еще финскую кампанию в войне со шведами 1808—1809 годов. Петин был убит в «битве народов» под Лейпцигом.

Батюшков его очень любил. В письме к матери друга он сообщал о своем стремлении помочь сооружению памятника ее сыну, павшему смертью героя-освободителя в центре Европы. Он писал:

«Сладостно и приятно помыслить, что на том поле славы и чести, на том поле, где русские искупили целый мир от рабства и оков, на поле, запечатленном нашей кровью, русский путешественник найдет прекрасный памятник, который возвратит ему имя храброго воина, его соотечественника, и почтит его память, драгоценную для потомства! Я исполню

то, что обещался на могиле храброго Петина, и счастливым назову себя, если вы не отринете мое предложение, усердием и дружбою внушенное...»

Побывал я в Лейпциге один-единственный раз, помнил, конечно, про могилу у берега реки Плейсе, но так и не смог попасть туда, постоять у памятника, поставленного стараниями Батюшкова. Было это весной сорок пятого года. Вся округа находилась тогда еще в американской зоне, и желанная поездка по ряду причин не состоялась.

Уцелел ли памятник Петину — не знаю. Земля срединной Европы усеяна могилами русских воинов — героев четырех войн, обширных во времени и в пространстве. Последняя и самая страшная из них — вторая мировая. Неслышно звенит мемориальная бронза на безмолвной переключке монументов славы.

Над всем этим Некрополем возвышается фигура советского Солдата-победителя, он прижал к сердцу маленькую девочку и опустил боевой меч в желании мира многострадавшему континенту и всему свету. Долго шел наш великий фронтовик уже и после войны к дням Хельсинки, разрядки и пришел наконец вместе с миллионами других людей, и не для того, конечно, чтобы могли развеять дух мира те, кто не хочет прилежно учить уроки истории.

Зимой 1941 года я принес из пустой и холодной комнаты в Замоскворечье, оставленной нами на произвол судьбы (жена работала в военной газете Уральского военного округа «Красный боец»), том «Сочинений Батюшкова», изданный в 1887 году.

После Октября издавались, насколько я знаю, только его стихи. Проза — статьи, очерки, письма — мало известна нашему читателю. Между тем она умна, живописна, дышит ветрами истории и, будучи современницей таких ревнителей старины в духе царевны Софьи, как адмирал Шишков, насколько не архаична ни в существе, ни в стиле.

(Только в конце 1978 года читатели получили «Опыты в стихах и прозе» Батюшкова, но туда не вошли его многочисленные письма. Между тем они открывают очень многое в их авторе и исполнены художественных достоинств.)

А тогда мы читали с Петром Павленко старый том сразу же после того, как освоили Болотова. В прекрасном очерке «Воспоминание о Петине» Батюшков писал:

«В тесной лачуге, на берегах Немана, без денег, без помощи, без хлеба (это не вымысел), в жестоких мучениях,

я лежал на соломе и глядел на Петина, которому перевязывали рану. Кругом хижины толпились раненые солдаты, пришедшие с полей несчастного Фридланда, и с ними множество пленных».

Петин, по свидетельству всех, кто его знал, был образцовым примером трудолюбивого и храброго русского офицера. Солдаты его любили за отвагу, простоту и внимание к их нуждам. Он ничем не напоминал высокомерных щеголей в военных мундирах, тех, кто охотно рисовался в салонах, избегал военной страды, а нижним чинам раздавал направо и налево зуботычины.

В юности он написал несколько басен, но, изменив поэзии, занялся переводами с французского и немецкого специальной литературы для «Военного журнала». Его интересовала баллистика. Стихи требовали воображения, наука — точности и внимания; он обладал этими свойствами в равной мере.

В 1808 году батальон гвардейских егерей, где служили два друга, был переброшен в Финляндию. Та короткая война со шведами осталась мало известной потомкам, ее вскоре заслонила грозовая тень эпопеи двенадцатого года. Но Павленко знал ее на редкость хорошо.

Он ведь и сам сто тридцать лет спустя пошел на войну с белофиннами в те же места, а в ночи наших литературных чтений рассказывал мне о походе черноусого генерала Кульнева по льду Ботнического залива к Аландским островам, как если бы он был сам его участником, а я вспомнил знаменитую формулу Кульнева, высказанную им при обсуждении планов похода: «Прикажите — пойдем!»

— Я видел и пережил там такое, чего никогда не знала моя душа,— тихо сказал Павленко, и глаза его блеснули за стеклами очков.

Ему, уже тогда не вполне здоровому человеку, было нелегко. Он мерз на снегу, леденел в пеших переходах, много раз попадал в опасный переплет, однажды чудом избежал гибели, видел воочию картины войны, навеки запечатленные в стихах Твардовского, написанные там, где поэт начал свой путь солдата, видел как

еще курились на рассвете  
землянок низые дымки,  
когда пошли сто двадцать третьей  
непобедимые полки.

И сразу нельзя было понять, о какой войне он говорит — той, что еще так недавно отгремела на обломках линии Маннергейма, или далекой, внезапно придвинувшейся к нам

из-за хребтов десятилетий, войне, на которой прославился юный Петин.

Конечно, нам никто не должен был объяснять социальное различие этих двух войн. Независимость Финляндии — дитя Октябрьской победы. И как было терпеть Советской стране классовый эгоизм финской реакции, продавшей душу Гитлеру?

Сидя в нетопленной редакционной комнате с огромным, во всю стену, замерзшим окном и говоря об историческом пути России, мы восхищались гвардейскими егерями Петина. Читали:

«Близ озера Саймы, в окрестностях Куопио, он встретил неприятеля. Стычки продолжались беспрестанно, и Петин, имевший под начальством роту, отличался беспрестанно... Полковник Потемкин, командовавший батальоном, уважал молодого офицера, и самые блестящие и опаснейшие посты доставались ему в удел, как лучшее награждение».

Он не был баловнем фортуны, этот молодой русский офицер, чью жизнь и скромный военный путь мы знаем благодаря стихотворению, нескольким страничкам реквиема, написанным его другом, и коротким нежным упоминаниям о нем, рассеянными в письмах, заметках, дневнике. С горечью говорит Батюшков:

«...Другие ротные командиры получили георгиевские кресты, а Петин был обойден. Все офицеры единодушно сожалели и обвиняли судьбу, часто несправедливую, но молодой Петин, более чувствительный к лестному уважению товарищей, нежели к неудаче своей, говорил им с редким своим добродушием: «Друзья, этот крест не уйдет от офицера, который имеет счастье служить с вами: я его завоюю; но заслужить ваше уважение и приязнь — вот чего желает мое сердце, и оно радуется, зная ваши ласки и сожаления».

Сквозь эти строки мы видели тогда, как живых, и Петина и самого их автора. Ведь правда же, немного, казалось бы, сказано, а как содержательно, да и в самом слого, в интонации проступают портреты этих юношей. Их верность воинскому долгу питалась еще и смутной жадной высокой цели, полностью оправдывающей тернии и опасности военной жизни.

Они вполне нашли ее, эту цель, в Отечественной народной войне двенадцатого года, но о ней речь впереди, а пока мы знакомимся с буднями боевой страды:

«Мы продвинулись вперед. Под Иденсальми шведы напали в полночь на наши биваки, и Петин с ротой егерей очистил лес, прогнал неприятеля и покрыл себя славою Его

вынесли на плащ, жестоко раненного в ногу. Генерал Тучков осыпал его похвалами. .» Тучков? Да, конечно, брат того самого, который упомянут в удалом стихотворении Марины Цветаевой «Генералам двенадцатого года»:

Ах, на гравюре полустертой,  
В один великолепный миг,  
Я видела, Тучков-четвертый,  
Ваш нежный лик.

И вашу хрупкую фигуру,  
И золотые ордена...  
И я, поцеловав гравюру,  
Не знала сна...

Батюшков не мог простить себе, что в тот день, когда был ранен Петин, не находился на передовой линии. Он излил это чувство в стихотворении «К Петину», хотя и облеченном в шутивную форму, но и полном ощутимого самобичевания:

Помнишь ли, питомец славы,  
Иденсальми? Страшну ночь? —  
Не люблю такой забавы,  
Молвил я,— и с музой прочь!  
Между тем как ты штыками  
Шведов за лес провожал,  
Я геройскими руками...  
Ужин вам приготавлил.

Тогда, после дела под Иденсальми, однополчане расстались и только через год увиделись в Москве.

«С каким удовольствием я обнял моего друга! — вспоминал впоследствии Батюшков. — С каким удовольствием просиживали мы целые вечера и не видели, как улетало время! Посвятив себя военной жизни, Петин и в мирное время не выпускал из рук военных книг, и я часто заставлял его за картой в глубоком размышлении».

## 2

Перелистывая страницы ветхого тома и вникая в переживания его автора, мы любовались искренней дружбой двух людей, только еще подошедших к порогу зрелости. Души их были сродны. Одни пристрастия и склонности, та же пылкость и та же беспечность пленяли их друг в друге.

«Привычка быть вместе, переносить труды и беспокойства воинские, разделять опасности и удовольствия стеснила наш союз. Часто и кошелек, и шалаш, и мысли, и надежды у нас были общие».

Дойдя до этого места, Павленко развел руками, хмыкнул и, посмотрев на меня, не без иронии сказал:

— Как будто бы про нас писано, а, как думаешь, старичок?

Я понимал, что эти вопросы заминированы. Малейший мой просчет, неверный шаг, и они взорвутся испепеляющим сарказмом. Нежностей в наших отношениях, по крайней мере их словесного выражения, не полагалось. Увы, не тот был век. А самомнение, выраженное не саркастически, а всерьез, шло за тягчайший грех и подлежало немедленному наказанию. Поэтому я скромно отбилсь:

— Кто же из нас Батюшков, кто Петин?

— Петин я,— тотчас ответил Петр Павленко,— поскольку он из моего имени сделал себе фамилию. А Батюшков...— мямлил он с рассчитанной неуверенностью в тоне.

— Нет,— безжалостно сказал я.— Петиным ты не проходишь по возрасту. Скорее уж я... Вот ты и напишешь обо мне, как он о Петине. (Вскоре после окончания войны, конечно не для подтверждения шутейной аналогии, Павленко действительно опубликовал в «Литературной газете» статью о моей книге «Традиции русского офицерства».)

— Ладно,— заключил Павленко переброску репликами.— А ведь есть, черт возьми, что-то похожее. Настроение какое-то... Наши с тобой ночевки в одной землянке на фронте, а потом эти чтения и споры у военной карты... Все другое — и что-то общее.

В нас было достаточно самоиронии, чтобы ограничить свое воображение только внешней схожестью обстоятельств.

Как бы ни отличались одна от другой войны разных эпох, как бы ни совершенствовалась техника вооруженной борьбы, сколь ни усложнялась бы тактика действий на поле боя, все равно в центре военной драмы стоит человек и в груди его бьется все тот же маленький мускул сердца.

Его может пронзить кончик шпаги или пики, пуля, вылетевшая из мушкета или современного автомата, осколок снаряда или авиабомбы. Все те же считанные дюймы костной ткани отделяют этот мускул от поверхности кожи. И так уж происходит, что фронтовой быт изменяется куда медленнее, чем виды оружия.

Дружба на войне бескомпромиссна. Я уже однажды писал на эту тему. Кто заведет приятельство с трусом! Приятельские отношения на фронте — особый вид человеческих связей, особая форма дружбы. Она бывает жестока и сурова. Вспомните классический пример: Суворов, Кутузов, Багратион.

Уж как любили Александр Васильевич и Михаил Илларионович своего соратника, а кого они ставили на самые опасные места? Багратиона.

Кто командовал авангардом в наступлении? Багратион.

Кто на Бородинском поле держал ключевую позицию у Семеновского оврага? Багратион.

Любили потому, что знали: можно надеяться.

Батюшков не был начальником Петина. Но гордился его храбростью, воинским умением. Фронтная их дружба не иссякла и в мирные дни. Батюшков вспоминает:

«...Однажды — этот день никогда не выйдет из моей памяти — он пришел ко мне со свитком бумаг. «Опять математика?» — спросил я улыбаясь. «О, нет! — отвечал он, краснея более и более, — это... стихи, прочитай их и скажи мне твое мнение». Стихи были писаны в молодости и весьма слабы, но в них приметны были смысл, ясность в выражении и язык довольно правильный. Я сказал, что думал, без прикрасы, и добрый Петин прижал меня к сердцу. Человек, который не обидится подобным приговором, есть добрый человек; я скажу более: в нем, конечно, тлеется искра дарования, ибо, что ни говорите, сердце есть источник дарования; по крайней мере, оно дает сию прелесть уму и воображению, которая нам всего более нравится в произведениях искусства».

В период между двумя войнами Петин занимался военной наукой, переводами. Осенью и зимой 1809 года Батюшков жил в имении Хантоново, а в 1810 году в Москве. Над Россией еще не рассеялась туча Тильзитского мира. Общественный разброд усиливал позиции реакции. Ее представители, такие, как адмирал Шишков, писатель С. Глинка, поэт Шихматов, пытались в корне пресечь самые попытки обсудить проблемы русского Просвещения.

Батюшков проницательно уловил политический смысл деятельности «шишковистов». Она далеко выходила за рамки собственно литературы и философии. Охраняя незыблемость самодержавно-крепостнических устоев, они искали крாமлу даже в сочинениях Карамзина и его последователей.

В ту пору Батюшков написал сатиру в стихах «Видение на берегах Леты». Это произведение остро высмеивало ретроградов и привлекло всеобщее внимание. Поэт гневно обрушился на проповедников архаики и отсталости. В письме к Гнедичу он писал: «Любить Отечество должно. Кто не любит его, тот изверг. Но можно ли любить невежество? Можно ли любить нравы, обычаи, от которых мы отделены века

ми и, что еще более, веком просвещения?.. Но, поверь мне, что эти патриоты, эти жаркие декламаторы не любят и не умеют любить русской земли. Имею право сказать это, и всякий пусть скажет, кто добровольно хотел принести жизнь на жертву Отечества».

Свидетельства современников не оставляют сомнений в том, что Тильзитский мир переживался сознательной частью русского общества именно как позор, как оскорбительное подчинение высокомерному врагу. К тому же вскоре Тильзит невыгодно отозвался и на экономическом благосостоянии, особенно городского населения. На этом историческом рубеже назревал тот истинно благородный, не показной «порыв национальности», которому предстояло серьезное испытание.

Тогда гроза двенадцатого года  
Еще спала. Еще Наполеон  
Не испытал великого народа —  
Еще грозил и колебался он.

24 июня 1812 года Наполеон уже был в России. «Русь обняла кичливого врага».

В чреде годов, обгаренных кровью, возник этот грозный год. Обезумевшая Европа, в страхе и покорности склонившаяся перед Наполеоном, хлынула потоками своих войск вслед за императорской армией в пределы России. Границу перешли французы, итальянцы, пруссаки, баварцы, саксонцы, австрийцы, поляки.

В те годы русская армия поднялась к вершинам героизма, победно поспорив с самыми отборными полками Наполеона.

Война пробудила гигантские силы народа. Молодые Батюшков и Петин многими чертами своих различных характеров, пристрастиями и ума и сердца были типичны для русской личности той эпохи.

Что сказать о русском солдате и офицере того времени? Пропасть неравенства отделяла их друг от друга. Неравенства сословного, имущественного, образовательного и всякого иного. Любопытнейший факт: когда русские егеря, лежа в «секрете», стреляли на звук иностранной речи, они подчас убивали не неприятеля, а русских же, титулованных офицеров, изъяснявшихся между собой по-французски.

Но в годину нашествия вся русская армия пылала желанием изгнать врага из пределов Отечества. Наполеоновский генерал Фриан был потрясен одной из тех недоступных



сознанию иностранца русских контратак, когда, казалось бы, в безнадежном положении, теснимые со всех сторон неприятелем, усатые гвардейцы выбрасывают штыки наперевес и идут вперед, сметая все на своем пути. Фриан изумлялся в своих записках: русские гвардейцы, даже раненные, подползали к противнику, дрались с ним, валили его и умирали, цепляясь за горло врага.

Когда из тучи Тильзитского мира грянула гроза, Батюшков находился в Москве, был болен, не мог сразу же вновь встать под знамена. Наполеон приказал взять русскую столицу. Поэт получил в те же дни письмо из действующей армии. От Петина. Оно было написано на Бородинском поле в канун битвы.

«...Я удивился,— замечает Батюшков,— спокойствию душевному, которое являлось в каждой строке письма, начертанного на барабане в роковую минуту. В нем описаны были все движения войска, позиция неприятеля и проч. со всею возможною точностию: о самых важнейших делах Петин, свидетель их, говорил хладнокровно, как о делах обыкновенных. Так должен писать истинно военный человек, созданный для сего звания природой и образованный размышлением; все внимание его должно устремляться на ратное дело, и все побочные горести и заботы должны быть подавлены силою души. На конце письма я заметил несколько строк, из которых видно было его нетерпение сразиться с врагом... Счастливый друг, ты пролил кровь свою на поле Бородинском, на поле славы и в виду Москвы тебе любезной, а я не разделил с тобой этой чести! В первый раз я позавидовал тебе, милый товарищ...»

Солнце Бородинской битвы уже более полутора столетия освещает славу русского солдата и офицера — «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!». После прорыва гитлеровцев под Можайском я привел в передовой статье поразительную строку Лермонтова, отдающую, как приклад штуцера после выстрела, толчком, но не в плечо, а прямо в сердце: «Ребята! не Москва ль за нами?..»

Прошлое незримо взаимодействовало с настоящим. Оно подсказывало аналогии, и хотя они подчас бывают рискованными, а все же ни народный опыт, ни движение отшумевших событий не исчезают бесследно.

### 3

Мы с Павленко обнаруживали эту связь времен в старых книгах, в биографиях давно ушедших людей, в их муках

и надеждах, в ходе общественного процесса, в явлениях современности. Связь времен существовала в объективном мире. Мы находили ее в малых ее частицах и в самих себе, в отголосках, какие пробуждало в наших сердцах минувшее: дневник наблюдательного Болотова; заново открытые нами отношения Батюшкова и Петина, крепко заваренные в военной гуще; «тень друга», выступающая из камня старых кладбищенских стен.

Первые же военные дни заставили задуматься о ней, этой связи времен, более пристально, чем в те годы, когда ненавистное старое шло на слом, а с ним иногда погибало и то, что впоследствии мы научились бережно сохранять или возрождать.

Как можно было после гражданской войны дать красным офицерам и солдатам погоны, если само слово «золотопогонник» стихийно стало бранным и вызывало представление о смертельном классовом враге, том самом, что утопил Чапаева в реке Урал, бросил Лаза в паровозную топку, вырезал кровавые звезды на спинах пленных красноармейцев.

С течением времени, когда в сознании наших людей погоны утратили значение враждебного символа, но сохранили отблеск прошлых сражений да свой практический смысл удобной и общепринятой детали обмундирования, они были введены в форму советских воинов.

— Без погон разбили белую армию и интервентов. С погонами разгромили фашистов. Вот и выходит, что, хотя у вас в литературе форма прямо вытекает из содержания, на войне дело, кажется, обстоит не совсем так. Содержание, по-моему, куда важнее,— сказал мне однажды комиссар полка, где родились двадцать восемь героев-панфиловцев, умница и смельчак Ахмеджан Мухамедъяров, и вопросительно заключил: — Согласен? Нет?

Мы все были согласны. Советское содержание жизни было главным. Мы свято верили в непобедимость Советской власти, нашего строя. Гордились партией, ее историей, ее борьбой, мы были ее верными сыновьями. Она подняла страну к новой жизни. Научный коммунизм становился материальной силой. И теперь эта сила держала грозный экзамен.

С полотнищ гвардейских знамен глядел на нас Ленин. Лицо его было сурово и спокойно.

Назавтра после опубликования передовой статьи «Завещание двадцати восьми героев-гвардейцев» в «Красной звезде» шла обычная редакционная летучка: что удалось

в номере, что не вышло. Статью хвалили, а один из выступавших сказал:

— Вот только слова Ключкова «Велика Россия, да отступать некуда — позади Москва»... Они ведь, как я полагаю, заимствованы у Кутузова. Фельдмаршал произнес их на совете в Филях. Как это получилось?

Воцарилась тишина. Летучка обернулась и смотрела на меня, сидящего у самой двери нашего маленького конференц-зала, где происходили все редакционные собрания. Я увидел глаза недоумевающие и глаза смеющиеся. Но мне почему-то не хотелось отвечать. И тогда встала наша общая любимица, библиотекарь Вероника. Она пожала плечами и запальчиво сказала:

— Так вот и получилось... Кутузов в Филях произнес нечто совсем иное: «С потерей Москвы не потеряна Россия. Властью, данной мне монархом, приказываю отступление». Вот что он сказал. Улавливаете разницу?

Да, эти формулы были противоположны. Чуть было не написал: «в корне противоположны». Но, пожалуй, в самом их корне было и что-то общее. В том и другом случае Москва положила начало разгрому противника.

В сентябре 1812 года русский арьергард Милорадовича тихо и в полном порядке прошел всю Москву от Дорогомиловской до Покровской заставы, а за ним по пятам в город вошел первый отряд французов под командованием генерала Себастьяни.

Советская страна не могла допустить захвата неприятелем ее столицы. И хотя наполеоновская армия двигалась пешком или на конной тяге (напоминаю, она переправилась через Неман 24 июня), а полчища Гитлера оседлали мотор, они доползли до Москвы на два месяца позже, чем завоеватели 1812 года. Первой датой считаю день Бородинской битвы — 26 августа, второй — день введения в Москве и прилегающих к ней районах осадного положения — 20 октября.

В наших ночных чтениях мы занимались и такими самодетельными вычислениями, а иначе говоря, сравнительным анализом темпов операции. Они обнадеживали и радовали.

Мы знали, что в стратегических выкладках германского генерального штаба мотор уже давно фигурировал как средство преодоления «необъятной русской равнины», фатально поглотившей войска Наполеона.

Но зимой сорок первого стало очевидно: нет, нашла коса на камень. Советская мощь погасила скорость гитлеровских моторов, а затем заглушила их и разбила

Разумеется, колоссальную фигуру Наполеона, недюжинного полководца, возникшего на волне французской революции, ее наследника и ее сокрушителя, завоевателя и государственного человека, автора «Гражданского кодекса», одного из самых выдающихся представителей буржуазии и в пору, когда она была молодым восходящим классом, нельзя и сравнивать с маньяком-расистом Гитлером.

Тогда, в дни наших чтений, получила распространение фраза, которая уподобляла Наполеона льву, а Гитлера — котенку. Дистанция определялась смело и неожиданно. И однажды, когда мы заговорили на эту тему, один из нас сказал:

— Ну, насчет Наполеона спору нет. А насчет котенка... Он ведь нас не оцарапал, а куски мяса повырывал. Хорош котенок!

А другой ответил:

— Он? Скорее все-таки германский генеральный штаб, плюс машина вермахта, запущенная в дело несколько лет тому назад, плюс промышленность и людские резервы всей Европы.

Собственно говоря, спора не было. Мы размышляли вслух. Для нас, военных литераторов, подобный обмен мнениями не был суесловием. История с ее уроками присутствовала во многом, о чем мы тогда писали. Гитлер вынырнул из тьмы средневековья, чтобы способами инквизиции, агрессии осуществить свирепую диктатуру буржуазии.

В сопоставлении с Наполеоном он, бесспорно, выглядел трущобным персонажем Истории. Но видеть в нем котенка?.. Такое сравнение не отвечало его зловещему облику и его действиям. Политрук Василий Клочков, вожак двадцати восьми гвардейцев-панфиловцев, назвал Гитлера шакалом.

Фронт проходит совсем недалеко. Ночные чтения то и дело прерываются поездками на передовую линию. Они вынужденно кратковременны — в редакции все еще действует лишь наша маленькая оперативная группа. Остальные пока в Куйбышеве либо на фронтах.

Мы возвращаемся из частей, «отписываемся», я к тому же правлю и редактирую «чужие» статьи, дежурю по номеру, через день пишу передовые (Павленко свободен от этих обязанностей, зато занимается совместным хозяйством, пробует разнообразить скудные казенные харчи), и вновь погружаемся в наши книжные пиршества.

Читаем с отбором, только те книги, где, как можно су-

дить по ряду признаков, история ведет переключку с нашими днями. Мы жадно ловим все, что «идет в дело»...

Храбрый Петин еще не залечил своей второй раны — отметину Бородинского боя, а Наполеон, озираясь на отсветы пляшущего за его спиной пламени московского пожара, опережая свои же войска, мчался по дороге на Вильно. Конвой из польских улан окружал его сани. Марш-маневр Кутузова на Тарутино вынудил императора французов отступать по старой Смоленской дороге. Окрестности ее уже были опустошены нашествием, и отступление превратилось в гибельный исход.

Началось преследование отступающей наполеоновской армии. Петин снова в боевом деле, и его опять ранило. Батюшков сильно за него опасался. Но молодость, искусство лекарей, стены родного дома, куда доставили пострадавшего, заботы матери, исполнявшей при сыне роль медицинской сестры, делали свое дело. Он быстро поправлялся, несмотря на тяжелое ранение, и, едва встав с постели, вырвался из материнских объятий.

Свой полк Петин догнал уже в Богемии. Батюшков также поспешил в войска, и судьба вновь свела друзей. И как же рад поэт:

«На высотах Кульма я снова обнял его посреди стана военного, после победы. Несколько часов мы провели наедине... Вечернее солнце и звезды ночи заставляли в сладкой задумчивости или в откровеннейших излияниях два сердца, сродные и способные чувствовать друг друга, но определенные на вечную разлуку. Часто мы бродили рука в руку посреди пушек, пирамид ружей и биваков и веселились разнообразием войск, столь различных и одеждою, и языком, и рождением, но соединенных нуждою победить... Никогда сии краткие минуты наслаждения чистейшего посреди забот и опасностей, как будто вырванные из рук скупой судьбины, не выйдут из моей памяти. И окрестности Дрездена и Теплица, и живописные горы Богемии, и победа при Кульме, и подвиги наших спартанцев сливаются в душе моей с воспоминанием о незабвенном товарище».

Смутные предчувствия томили душу Петина. Три тяжелые раны измучили его тело. Но дух боевого офицера повелевал всеми его действиями и гнал прочь уныние. Так и происходит у людей с развитым чувством долга.

Узнавая подробности жизни Петина, мы вспоминали, как недавно в боях под Вязьмой, в критический момент прорыва

гитлеровцев к командному пункту полка, его отбила в отчаянной контратаке наспех сформированная команда раненых из ближнего медсанбата.

Политработники разных частей на разных фронтах в течение всей нашей войны с гитлеровской Германией отмечали один и тот же факт: легкораненые отказываются покинуть фронт, а те, кто попадал в госпитали, правдами и неправдами стремились после первых же признаков выздоровления вернуться на фронт в свою часть.

#### 4

Да, все другое и что-то общее... В те дни Московской обороны мы полюбили Батюшкова уже не только как поэта, но и как человека на войне, верного товарища, полюбили милого Петина, вырванного из небытия стихотворением, ставшим классическим.

Сколько их сложило головы — России верных сынов, солдат и офицеров, молодых и старых, — в войнах, выпадавших на долю каждого поколения. И весь этот уходящий в бесконечность строй людей, одетых в военную форму различных полков — гренадеры, егеря, драгуны, уланы, гусары, — удаляется от нас все дальше и дальше, сливаясь в одно понятие: русские войска.

В тумане истории маршируют теперь уже немые батальоны, идут беззвучные сражения, полыхает огонь. В старых книгах мелькают имена, разгораются и гаснут эпизоды боев, но уже не разглядеть нам человеческих лиц в этой круговерти, не всмотреться в их черты.

И только в литературе мы встречаем живых людей, с их радостями и скорбями. Но созданы они воображением писателя, их прототипы чаще всего неизвестны, а если и ведомы нам, то кто же подскажет читателю, что в них, в этих литературных персонажах, от реально существующего человека, а что — результат авторского вымысла. Да и так ли необходимо это сличение?

Но когда участник событий пишет о своем современнике, о том, кого он наблюдал на крутых перепадах военной жизни, с кем был рядом и кого любил, почитал, уважал, да если пишущий обладает еще и даром художественного изображения, тогда появляется фурмановский Чапаев, тогда возникает батюшковский Петин.

Я не сравниваю этих людей. Они стоят на разных исторических и социальных рубежах. Чапаев заслужил свою большую славу военачальника гражданской войны, выдвиг-

нутого революцией из гущи народной. Без его имени невозможна летопись военной организации большевизма.

Но без Фурманова не дошли бы до нас неповторимые особенности этого редкого человека, редкостного, но вместе с тем и характерного в своем главном, определяющем.

Петин же остался бы и вовсе безвестным. Только счастливая случайность выделила его из безликих колонн, марширующих по пыльным дорогам в таинственной глубине прошлого века, приблизила его «лицо из мрака», позволила ему зажить второй жизнью — единственно возможной при чуде «воскрешения из мертвых», которое способен сотворить талант художника.

Эта случайность — Батюшков. Без него потомки скорее всего и не набрали бы на имя Петина, а если бы и открыли его в сухом документе «списочного состава» батальона, то что бы оно сказало нашему сердцу без черт живого образа, написанного другом.

И в наши дни жизнь и литература дают такие примеры. Все мы знаем имя Боурджана Момыш-улы. Однако при всем своеобразии натуры этого человека он офицер, каких на фронте было немало, умный, храбрый, стойко выполнял свой долг.

А известен он больше других, больше многих и многих тысяч фронтовых комбатов, что доблестно командовали тогда своими подразделениями на огромном фронте от Черного до Баренцева моря.

Момыш-улы, конечно, знаменит заслуженно. Но причина тут та, что он стал героем не только подмосковных боев, но и повестей Александра Бека.

Что написал Батюшков о Петине? Два стихотворения: знаменитое «Тень друга» и полушутливое «К Петину». В прозе — «Воспоминание о Петине», «Воспоминание мест, сражений и путешествий» и по несколько строк в письмах разным лицам. Все это вместе не достигает размеров и авторского листа. Но портрет Петина перед нашими глазами.

Может быть, такой эффект достигнут волшебством взаимопроникновения поэзии и прозы, устремленным к единой цели? Но, по-моему, не было здесь цели, поставленной отчетливо и точно. А просто выступила, как слеза на реснице, неиссякаемая боль утраты и вызвала потребность сердечного излияния.

Долгие годы жило это чувство. Не раз возвращался Батюшков мыслями к Петину, писал о нем не много, но с необычайной нежностью, не мог забыть друга, пока тяжелая

душевная болезнь не увела его самого из реального мира в то страшное и печальное, где нет ни смерти, ни жизни.

5

Но это впереди. А сейчас они живы, молоды, веселы, и только изредка неясные предчувствия набегают на лицо то одного, то другого. И вот их последняя встреча:

«В Альтенбурге, на походе, он навестил меня и, прощаясь, крепко сжимал мою руку. Слабость раненой ноги его была так сильна, что он с трудом мог опираться на стремя и, садясь на лошадь, упал. «Дурной знак для офицера», — сказал он, смеясь от доброго сердца. Он удалился, и с тех пор я его не видал...»

На просторной равнине у Лейпцига 16 октября 1813 года разразилась «битва народов». Ее нарекли так не историки, но очевидцы и участники. Длилась она три дня — 16, 18 и 19 октября и считается одной из самых величайших битв за время всей наполеоновской эпопеи.

Русские войска вместе с австрийскими, прусскими и шведскими противостояли армии, собранной императором меньше чем через год после его бегства из России. Под его знаменем были итальянцы, голландцы, бельгийцы, немцы Рейнского союза, поляки, саксонцы.

В первый день битвы Батюшков находился при генерале Раевском. Под жестоким огнем он нет-нет да и подумывал о друге, его падении с коня, но не испытывал, как пишет серьезного беспокойства «на счет моего Петина», знал: гвардия еще не вступила в дело.

В четвертом часу дня в том пункте, где русские гранатеры железной грудью отбивали атаку за атакой превосходящих сил неприятеля, генерал, не приученный уступать дорогу пуле, был ранен и велел Батюшкову доставить лекаря.

Поэт-офицер поскакал к позициям резервов по направлению к деревне Госсе и встретил гвардейских егерей; Петина среди них не увидел. Спросил о нем, ответили: он был в голове всей колонны.

Представляю себе, сколь непреодолимо было желание Батюшкова свидеться с другом. «К несчастью, не мог видеть Петина», — скупо запишет он потом. Не смел отклониться от маршрута — на поле боя ждал помощи раненый генерал.

На другой день утих шум битвы. Обе стороны удержали свои рубежи и теперь подбирали раненых, свозили их в лазареты. Хоронить мертвых было недосуг: 16 октября Напо-



леон потерял тридцать тысяч человек, союзники — столько же. Среди них родной брат Раевского.

Когда генерал узнал о гибели брата, он поручил Батюшкову отыскать тело на месте атаки гусар. «Какое-то непонятное, мрачное предчувствие стесняло мое сердце, — горестно вспоминает поэт, — мы встречали множество раненых, и в числе их гвардейских егерей. Первый мой вопрос — о Петине; ответ меня ужаснул: полковник ранен под деревней — это еще лучшее из худшего! Другой егерь меня успокоил (по крайней мере, я старался успокоиться его словами), уверив, что полковник его жив, что он видел его сию минуту в лагере... Но раненый офицер, который встретился немного далее, сказал мне, что храбрый Петин убит».

Егеря не оставили своего командира без погребения, те, кто был с ним рядом, предали тело земле у ближней деревни. Батюшков увидел за грядой леса колокольню, она возвышалась, как ему сказали, неподалеку от могилы полковника. Но надо было выполнять приказ генерала.

«Этот день почти до самой ночи я провел на поле сражения, объезжая его с одного конца до другого и рассматривая окровавленные трупы. Утро было пасмурное. Около полудня полился дождь реками; все усугубляло мрачность ужаснейшего зрелища, которого одно воспоминание утомляет душу, зрелища свежего поля битвы, заваленного трупами людей, коней, разбитыми ящиками... В глазах моих беспрестанно мелькала колокольня, где покоилось тело лучшего из людей, и сердце мое исполнялось горестию несказанной, которую ни одна слеза не облегчила. Проезжая через деревню Госсе, я остановил лошадь и спросил у егеря, обезображенного страшными ранами: «Где был убит ваш полковник?» — «За этим рвом, там, где столько мертвых». Я с ужасом удалился от рокового места».

Вы прочли сейчас строки из «Воспоминания о Петине», написанные в 1815 году, а еще раньше, в 1813-м, спустя всего лишь десять дней после битвы у Лейпцига и гибели друга, Батюшков пишет в Петербург Гнедичу, пишет из Веймара, еще оглушенный грохотом битвы, измученный невозвратной потерей близкого человека:

«Все поле сражения удержано нами и усеяно мертвыми телами. Ужасный и незабываемый для меня день!.. Гвардейский егерь сказал мне, что Петин убит. Петин добрый, милый товарищ трех походов, истинный друг, прекрасный молодой человек, скажу более: редкий юноша. Эта весть меня расстроила совершенно и надолго. На левой руке от батарей

вдали была кирха. Там погребен Петин, там поклонился я свежей могиле и просил со слезами пастора, чтобы он поберег прах моего товарища. Мать его умрет с тоски...»

А письмо матери Петина по поводу памятника, уже известное читателям, Батюшков, собравшись с духом, смог написать только через год — перед возвращением к родным пенатам из похода в Европу. Но до этих дней еще далеко. На пути к сокрушению Бонапарта союзникам еще предстоит тяжелейшая кампания 1814 года.

С боями отступал Наполеон к собственно границам Франции. Бил роковой час — он вел смертельно уставших гренадер, всех, кто уцелел под Лейпцигом и на переправе через Эльстер, когда французские же саперы преждевременно взорвали мосты, вел к линии Рейна, туда, откуда он и начал свои завоевательные походы.

Многие историки, говоря об этих днях, обращались к знаменитой картине Мейссонье, выразительно передавшего душевную драму разбитого полководца. Он мчитя среди конных гренадер своей гвардии, погруженный в угрюмые размышления. Его лицо выражает тяжелую внутреннюю борьбу, его глаза, казалось, впервые прозревают то, что еще скрыто от гренадер, — падение империи.

Но еще есть картина Нортена, и при первом же взгляде, брошенном на нее, вы понимаете роковую связь между нашествием «великой армии» императора в 1812 году и моментом, запечатленным Мейссонье в преддверии событий 1814 года. Полотно Нортена называется «Отступление Наполеона из России».

Я долго разглядывал эту картину в прекрасной репродукции на страницах юбилейного издания 1912 года — «Отечественная война и русское общество».

Я увидел туманное, хмурое утро. Сыплется снег, и злой ветер хлещет в спину, замечая следы. Окруженный гренадерами-пехотинцами, прячущими в рукавах шинелей иззябшие руки, едет на коне Наполеон.

Вся многофигурная композиция тонет в белесой, беспросветной пелене. И только император виден отчетливо в разрыве солдатской колонны. Его свита едва различима за снеговой сеткой. Треуголка надвинута на глаза Наполеона, лицо его выражает мучительные сомнения и угрюмость, блики которой схвачены и Мейссонье.

Его конь поразительно похож на тех дюреровских лошадей, что дрожат и клонят вниз шеи, когда на них гарцует сама Смерть.

Сопоставление картин Нортена и Мейссонье прекрасно

выражает непоколебимую истину: поход в Россию был началом конца Наполеона

Во время ночных чтений сорок первого года нас ошеломили и просто привели в восторг эти два полотна. Мы были благодарны нашему «завбибу» Веронике за ее «взнос» в наши чтения — многотомное издание, о котором я уже упоминал.

История давала непререкаемый урок всем кандидатам в Наполеоны, используя в качестве наглядных пособий многое, в том числе и живопись. Эти две картины как-то уж очень выразительно подтвердили нашу веру в победный исход борьбы с Гитлером.

Мы вернулись к книге в синем переплете — сочинениям Батюшкова. После кровавой сечи у Лейпцига он остался один, с душою, омраченной тяжелым горем. Из Веймара, где он находился при генерале Раевском, лечившемся после ранения, он вскоре вновь поехал в действующую армию, и вот мы видим его на берегу Рейна. В письме Гнедичу он лаконично рассказывает о переправе:

«Вот как это случилось: в виду Базеля и гор, его окружающих, в виду крепости Гюнинга, мы построили мост, отслужили молебен со всем корпусом гренадер, закричали «ура» и перешли за Рейн».

Но в 1817 году, на трехлетнем отдалении от этого рубежа войны, что-то дрогнуло в сердце поэта, что-то открылось сознанию и властно потянуло вслед отшумевшей грозе. Он пишет «Переход через Рейн». Это необыкновенное стихотворение. С огромной силой исторического видения оно выразило народный характер войны, неотразимость русского отпора завоевателю, воодушевленность национальным самосознанием.

Не помню, в 1943 ли году, во всяком случае во время войны, Николай Семенович Тихонов показал мне тетрадь, кажется, без конца — дневник молодого офицера той Отечественной войны. Наверно, был он в возрасте Петина. И врезалась в память первая фраза, написанная, как и весь дневник, бледными да еще и выцветшими чернилами на пожелтевших листках:

«Мы на биваке, на берегу Рейна, казаки поят лошадей его водами. Какое поле для умствования открывается передо мною. Еще вчера в Москве, сегодня уже гоним врага далеко за пределами отечества».

Так воспроизвел я эту цитату, а потом подумал: а не действует ли тут какая-нибудь провокация памяти? Давно ведь было дело. Более тридцати лет назад. Может быть,

и текст этот «из другой оперы». Я позвонил Николаю Семеновичу в Переделкино, рассказал о своих сомнениях.

— Была такая тетрадь?

— Была!

— А что с ней стало?

— Ничего, кроме того, что она цела-целехонька.

— А как бы мне проверить из нее одно местечко?

— Какое?

— А то, где автор фиксирует свои ощущения на берегу Рейна.

— Ах, это действительно прекрасное место,— живо откликнулся Тихонов.— Гм... там, кроме автора, хорош еще и забияка Капустин. Ну, вот что: тетрадь, я полагаю, у меня на городской квартире. Через шесть-семь дней я буду в Москве, позвоню тебе и продиктую...

Тихонов — человек точный. Спустя неделю он позвонил и продиктовал... Я сейчас приведу эту цитату полностью, преследуя сразу две цели.

Первая: отрывок из дневника превосходен, он написан сто шестьдесят пять лет тому назад, в нем звучит музыка пушкинской речи, то есть строй современного русского языка, и поэтому захотелось к нему вернуться.

Вторая: конечно, хорошо, что я запомнил без всяких записей и эту тетрадь и основной эмоциональный смысл ее рейнской страницы. Но, как увидите, память удержала только бледный очерк подлинного текста.

Рукопись озаглавлена самим автором: «Дневник русского офицера». Его имя, фамилия, воинское звание да и сама судьба — неизвестны. Рукопись не закончена.

Итак:

«31 декабря 1813 года. Занимаю пикет на Рейне. Подле меня понтонный мост, форт Луи, островок с цитаделью, которую французы забыли занять; наша кавалерия и егеря уже переправились.

Сидя у огонька, гляжу на Рейн, уже подернутый льдом, как бы нарочно облекшийся в эту одежду для неожиданных гостей севера.

Какое обширное поле открывает этот вид для мыслей, чувствований, умствований. Два года назад беззаботно резвился в Москве, год назад скользил по Неману и наконец охраняю переправу через Рейн.

Ночью подъехал ко мне командир 20-го егерского полка Капустин. Сказал, что заблудился, озяб, просил чего-нибудь выпить — у меня был ром: согрели чайник и распили пунш на рейнской воде».

Да, видно, многим рекам суждено быть рубиконами — перейдя их, история совершает крутые повороты.

Озирая с холма лагерь русских войск на берегу, «где с Альпов, вечною струей, ты льешься, Рейн величавой», Батюшков увидел в наведенных мостах, в перестроении колонн не просто подготовку к форсированию водной преграды, как это зовется на военном языке, но более глубокий смысл:

Давно ли брег твой под орлами  
Аттилы нового стенал,  
И ты — уныло протекал  
Между враждебными полками...

.....  
И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,  
Под знаменем Москвы, с свободой и  
с громами!..

Стеклись с морей, покрытых льдами,  
От струй полуденных, от Каспия валов,  
От волн Улеи и Байкала,  
От Волги, Дона и Днепра,  
От града нашего Петра,  
С вершин Кавказа и Урала!..

Пылают и дымятся бивачные костры над великой европейской рекой. Лагерь не спит. Слышен перестук топоров возле берегового уреза. Саперы вгоняют последние гвозди в доски понтонных мостов. Скрежещет железо, звенит сталь, гренадеры затачивают штыки.

Кавалеристы собрались в кружок и дымят трубками в уголке между тюками сена, кирасирскими латами и седлами. Веселый фейерверкер, прародитель Василия Теркина, сыплет кучке артиллеристов соленые байки. Текучая вода отражает фигуру юного всадника. Кто он? Тень Петина? Или сам поэт? А может быть, простой солдат-конногвардеец?

Там всадник, опершись на светлу сталь копыя,  
Задумчив и один, на берегу высоком  
Стоит и жадным ловит оком  
Реки излучистой последние края.  
Быть может, он воспоминает  
Реку своих родимых мест —  
И на груди свой медный крест  
Невольню к сердцу прижимает...

Волнуясь и спеша, читали мы с Павленко друг другу эти стихи. В них звучал голос Возмездия, понимаемого как закон исторической справедливости. Мы переносили чувства поэта в наши дни, и образы далеких предков возникали перед нами на фоне бурно несущейся современности.

Уже после войны, кажется, в 1949 году, заглянул я в седьмой том — «Критика и публицистика» — полного собрания сочинений Пушкина, оно тогда выходило в академическом издании. Перелистывая книгу, я увидел «Заметки на полях «Опытов в стихах и прозе К. Н. Батюшкова». И вот приписка Пушкина под строфами «Перехода через Рейн»: «Лучшее стихотворение поэта — сильнейшее и более всех обдуманное».

Не будучи пушкиноведом-специалистом, не имел я случая раньше познакомиться с этой оценкой и возрадовался необычайно. Значит, тогда, в сорок первом году, в скудные часы, оторванные от сна, мы с Петром Андреевичем не ошиблись, с упоением повторяя батюшковские строфы:

Твой стонет брег гостеприимной,  
И мост под воями дрожит!  
И враг, завидя их, бежит,  
От глаз в дали теряясь дымной!..

Значит, было оно, «более всех обдуманное», написано и для грядущего, «на вырост», и достигло через полтора века сердец и сознания нового поколения.

Сквозь все неудачи сорок первого года, сквозь огонь и дым каждого из его дней, наполненных невиданным упорством нашей обороны, мы вместе с миллионами сограждан были счастливы верой в тот «грядущий час», когда, «в дали теряясь дымной», побежит наш злобный враг. И основанием этой веры была для нас надежда на советскую закалку Отечества и на его историю, проложившую дорогу Октябрьскому рубежу.

Раз уж обратился я к Пушкину, то хочу привести и некоторые другие его приписки на полях стихов и прозы Батюшкова. Под стихотворением «Тень друга» он пишет: «Прелесть и совершенство — какая гармония!»

И дальше, о других и различных стихотворениях: «Прекрасно!», «Живо, прекрасно!», «Прелесть», «Что за чудотворец этот Батюшков», «Сильные стихи», «Вот стихи прелестные, собственно Батюшкова...»

Есть ли критические оценки отдельных строф и стихов, писанных в молодости, но как только Пушкин находит удачу, тут же радостно восклицает: «Опять похоже на Батюшкова». Цельное его впечатление определилось раз и навсегда непоколебимо. Недаром Белинский называл Батюшкова учителем гения русской поэзии.

А теперь снова перенесемся в Европу прошлого века...

Мы видим Батюшкова на холмах, окружавших деревню Монтрель. Отсюда он озирает Париж, окутанный густым туманом, контуры бесконечного ряда зданий, над которыми господствует Нотр-Дам с высокими башнями. Перед русскими войсками лежал город, откуда пришел в Россию завоеватель.

«Признаюсь, сердце затрепетало от радости! Сколько воспоминаний! Здесь ворота Трона, влево Венсен, там высота Монмартра, куда устремлено движение наших войск. Мы продвигались вперед с большим уроном через Баньолет к Бельвилю, предместью Парижа. Все высоты заняты артиллериею; еще минуты, и Париж засыпан ядрами! Желать ли сего? Французы выслали офицера с переговорами, и пушки замолчали. Раненые русские офицеры проходили мимо нас и поздравляли с победой. Слава богу! «Мы увидели Париж со шпагой в руках! Мы отомстили за Москву!» — повторяли солдаты, перевязывая раны свои. Мы оставили высоту L'Éripe; солнце было на закате, по той стороне Парижа; кругом раздавались ура победителей...»

О чем думал русский человек в конце своей военной тропы? Он не хотел ни унижения противника, ни злобной расплаты с ним. Как глубоко понимал Батюшков движущие силы современных ему дней, если, еще не остыв от битвы, где было нанесено окончательное поражение Наполеону, он сразу же отделил императора от невольников завоевательных войн, восклицая: «О, чудесный народ парижский!»

Прекрасны строки его письма к Гнедичу. Оно дышит гордостью за воинский подвиг соотечественников, жаждой мира и удивлением перед страстями бурного моря жизни:

«Я видел Париж сквозь сон или во сне. Ибо не сон ли мы видели по совести? Не во сне ли и теперь слышим, что Наполеон отказался от короны, что он бежит... Мудрено, мудро жить на свете, милый друг!.. Все ожидают мира. Дай бог! Мы все желаем того. Выстрелы надоели, а более всего плач и жалобы несчастных жителей, которые вовсе разорены по большим дорогам. Остался пепл один в наследство сироте».

Всё в этом письме — нравственная чистота, сострадание, раздумье, — решительно все вызывает у потомков чувство благодарности к автору.

В наших ночных чтениях мы сроднились с Батюшковым, он приблизился к нам из хрестоматийного далека, стал своим, нужным. Да, только критические дни в жизни народа определяют настоящую цену его художников и заново пере-

смастривают их репутацию. Батюшков выдержит любое испытание — на многие годы вперед.

Смотрю на его портрет 1815 года кисти Кипренского — вьющиеся светлые волосы ниспадают на высокий лоб, задумчивый взгляд под чуть приподнятыми в легком удивлении бровями, добрая полуулыбка на полных губах. Он еще в военной форме, но офицерский его внеслужебный сюртук с контрпогончиками распахнут. Поэт — дома, он сидит в кресле с высокой спинкой: наверно, принимает друзей или одного Гнедича и внемлет его рассказу. А потом сам без усталости станет вспоминать события войны, и тень Петина, тень друга, неслышно явится его взору, и поэт с горькой трезвостью произнесет поразительную эпитафию:

«Имя молодого Петина изгладится из памяти людей. Ни одним блестящим подвигом он не ознаменовал течения своей краткой жизни, но зато ни одно воспоминание не оскорбит его памяти. Исполняя свой долг, был он добрым сыном, верным другом, неустрашимым воином: этого мало для земного бессмертия».

Так судил Батюшков о воинском и гражданском долге, о бессмертии, о жизни.

Болотову и Батюшкову, людям разной судьбы и разных эпох, равно повезло. Они смогли в срок собственной жизни связать начала и концы главных событий своего времени. Вот благодаря чему мы с Павленко за один тот месяц глубокой осени 1941 года мысленно повторили их путь от того дня, когда запели первые военные трубы до последнего дня двух войн глубокой старины, побывали в двух столицах побежденных Россией государств. Болотов привел нас в Берлин прусского короля Фридриха, мечтавшего о господстве в Европе, Батюшков — в наполеоновский Париж, откуда император желал диктовать свои законы всему континенту.

Теперь, спустя столько лет после тех двух войн, Советскому Союзу, его армии, потомкам гренадер Салтыкова и Кутузова, соединившимся в единой военной силе с сыновьями всех народов, населяющих нашу огромную страну, предстояло разбить войско Гитлера и водрузить победные знамена на стенах столицы рейха. Народ наш верил: так и будет!

За окном шел снег. Осень сорок первого перевалила на зиму. В открытую форточку я видел два ряда обледелых надолб. Они перекрывали улицу «Правды» чуть дальше зда-



ния редакции. Москва была готова ко всему, но, к счастью, надолбы эти негодились. Выходила заря нашего наступления. Впереди был длинный, долгий путь: от Москвы до Берлина.

Вчера мы ходили с Павленко на Красную площадь. Кремлевские башни побелели от снега. В старину русские крепости строились из очень прочных «кремлевых» деревьев — крепость получала название «кремль».

На древнем новгородском наречье слово «кремляк» означало — человек твердого характера. Мы говорили про то, что ленинская идея прирастила силу народа, дала ему путеводную звезду. Миллионами алых звездочек горела она сейчас на пилотках и шапках бойцов Советской Армии. «Советские люди — кремлевские люди!» — написал я той же ночью в передовой статье для газеты.